

Фарфоровые затеи

*Памяти
Асты Давыдовны Бржезицкой*

Она крошечная, смуглая, иссушенная — словно обжиг прошла. Седая косица, заплетенная сзади. Глаукома, уже оперированная, но прогрессирующая.

1
Просто жизнь

—...**Г**уленька, деточка, не бойся, она не страшная, не укусит... Нет, не верит никому. Видишь, кто бы ни пришел, она под диван

забывается. Деточка. Настрадалась от добрых людей...

Что это за свертки ты вытаскиваешь, какого черта? У меня все есть, я сама тебя сейчас накормлю... Ну, не хочешь — сиди голодной. Ты не против, что я на «ты»? Имею право: девяносто лет — это уже не возраст, это эпоха...

...Пойдем, сядем на диван... он называется «Шурик». У меня сосед был Шурик, таксист, я упростила его поехать со мной купить новый диван. Вроде как он мой муж. Шурик говорит: «Да у меня на морде написано, что я таксист!» Но все ж поехал.

Заходим, видим — стоит этот благородный диван, бархатный. Одинокий. Продавщица говорит: «Он вам не подходит. Во-первых, дорогой, во-вторых, не раскладывается, в-третьих, он последний».

А Шурик ей: «Кто вам сказал, что нам нужно его раскладывать? У меня этих коек дома навалом. Заверните! Берем!»

...Это что ты разматываешь, что за проводки? Ах, ну да... И что — весь этот мой бред неостановимый будет напечатан? А кому понадобится

все это читать? Это же не роман какой-нибудь. Это просто жизнь... Вон, любая старуха на лавочке, — она тебе интереснее расскажет... Она и в политике разбирается, в отличие от меня. Хотя вот, знаешь что — этому Президенту новому очень симпатизирую. Очень он мне нравится. Ведь он в моем сне спас Гулю от наводнения... Серьезно: помню, там на каком-то острове с грузовика в лодку перегружают двух свинок, козочку, а для Гули места не хватает, и она остается за бортом. И, знаешь, мы плывем, а Гуля — за лодкой, и лает, и стонет... У меня просто сердце разрывается от горя. Тут какой-то господин рядом со мной — элегантный, худой — аккуратно снимает пиджак, подтяжки, галстук, ботинки и носки. Очень аккуратно складывает это стопочкой на скамейку, бросается в воду и спасает Гулю! Да-да — и, забравшись в лодку, кричит: «Скорее сухое полотенце, она же совсем мокрая!»

Ну скажи — как я могу его после этого не любить?

У меня за него душа болит — вряд ли ему дадут что-то сделать хорошее. Ведь он не может окружить себя теми, кто умеет работать. Он, по-

нимаешь, должен окружать себя теми, кому доверяет. А кто они, эти самые, кому он доверяет? Парни с его двора, говнюки окайнные... Ты как относишься к плохим словам?

— К матерным?

— Ну да.

— Хорошо отношусь. Это же определенная эмоциональная краска в разговоре, иногда необходимая.

— А я могу и без них вытерпливать. Немного, но могу.

— ...и Раневская ваша вот тоже...

— Да, доктор Бакулев знаменитый однажды пришел к Фаине Георгиевне. Он дружил с ней, любил ее очень... Мы с ней сделали обед, такой, приличный, но не шикарный — шикарный он не позволял... Пришел, говорит: «На что жалуетесь, Фаина Георгиевна?»

«Александр Николаевич, не сру!»

«Сейчас посмотрим».

«Что — посмотрим?!»

— Евгения Леонидовна, ну, поехали, благословясь? Включаю кнопочку... Здравствуйте, Ев-

гения Леонидовна! Как я рада нашей встрече и как благодарна, что вы — легенда, так сказать, российского фарфора — дали на нее согласие. Я вот, знаете, долго не могла придумать — с чего разговор начать. А как только переступила порог, увидела эти ваши скульптуры, которые с детства во многих семьях, на многих комодах, буфетах, полках встречала...

— ...А знаешь, что самое страшное? Самое страшное для человека, который проработал как проклятый, семьдесят лет — это праздность. Самое страшное, что надвигается слепота и — никуда от нее не деться...

— Нет, я так не могу! Я не могу с этого начинать!

— Чего ты не можешь, дура?! Тебе обязательно надо вот это самое — «родилась я в городе Тамбове...»? А кстати, родилась-то я знаешь где? В Пензе... Дед был — миллионер, лесопромышленник, выбился в купцы первой гильдии трудом, умом и сверхъестественной честностью. А его брат Яша подался в революционеры. Ходил в кожанке, с наганом на поясе... После революции у семьи сначала экспроприрова-

ли все предприятия, отняли деньги. Дед брату сказал: «Яша, ты этого хотел?»... Ну, в двадцатые годы «уплотнили» нас так, что вся семья жила в одной двадцатиметровой комнате в коммуналке. И снова дед спросил: «Яша, ты этого хотел?»

А в тридцать восьмом ночью пришли за Яшей и увели его навсегда. Дед успел прорыдать ему в спину, которую больше никто никогда не увидел: «Яша, ты этого хотел?!»

— А в Пензе... там большой дом был?

— Ну, домик кой-какой... Наша семья занимала весь верхний этаж. А знаешь, самое главное впечатление у меня от детства-то какое? Когда я в один день постигла, что такое рождение и что такое смерть. Это просто у меня такая метина, зарубка в памяти... Сперва я была принцессой в доме, потом появился брат Оська, не родной, сын моей тети Полюси. Родился, значит, Оська... И к нему шли с поздравлениями. Тетя Полюся стояла такая величавая, она у нас дорогая была, в отличие от Саши.

— А... Саша?

— Саша — это моя мать. Я ее всю жизнь на-

зывала — «Саша». Она изящная была, зеленоглазая, рыжая. И свистела.

— Как это — свистела?

— Погоди, не плунтайся под ногами! Это словечко нашей домработницы Суры, суровой женщины. Ей Борис Александрович, мой муж, говорил: «Сура Яковлевна, вы очень жирно готовите. У меня печень больная, я не могу так жирно есть». Она говорила: «Ай, не плунтайтесь под ногами, идите прежде!»... Я — про что?.. Да: так тетя Полюся принимала поздравления. У нас была лестница красного дерева... в разные стороны так разбегалась... И тетя Полюся стояла наверху, на площадке, с младенцем на руках. Ему все несли какие-то приношения. А я — мне три года исполнилось — сидела в дедовом кабинете на козетке и тихо говорила: «А мне — ничего»... И все думала, как же от него избавиться, от Оськи, жить-то надо.

Ночью проснулась, спустилась в одной рубашонке в кухню, нашла топор и поволокла его наверх, в спальню... тяжелый, сволочь!

— Это вы — чтоб брата зарубить?

— Ну, само собой. Да, тащу топор... А наверху меня уже нянька моя, Настя, поджидает. Говорит: «Женюра, куда ты ночью топор тащишь?» Я говорю: «Оську убить. Помогите мне, я не могу, он тяжелый». Она отняла топор, объяснила, что Оську уж не стоит убивать. Грех это. Ежли родился, пускай живет...

— И вы смирились?

— Не сразу. Приходили все новые гости, приезжали родственники отовсюду. И приехал откуда-то из Франции, он там учился, роскошный дядя, неженатый. Эдакий светский парижанин: я его помню не то во фраке, не то в смокинге... Кудрявый.

«Что ж ты тут сидишь грустная, Женюра?»

И я ему раскрыла сердце.

«Да ты что, разве можно так сокрушаться? Что ты, Оська — это же кусок мяса, а ты — шикарная женщина!.. А я тебе привез гостинец!» Открыл коробку, и оттуда волна запаха какой-то краски. Гадость, я сейчас думаю, отравы, но мне показалось волшебным ароматом. Внутри лежала Сестра Милосердия! Самая дешевая кукла, наверное, что попалась ему по дороге, на

вокзале каком-нибудь, но дорожке ее у меня не было. И на этом кончились мои страдания. Я ведь вообще — в раю жила. Огромный двор у нас был — рай настоящий... Вставала рано-рано, часов в шесть, и выбегала босиком во фруктовый сад. Однажды увидела ярко-румяное яблоко, прекрасное, теплое, оно так ни-изенько висело... и я подошла и вот так подставила руку, и оно, опушенное какой-то нежной пыльцой, такое... под-лин-ное... оно село мне в руку, улеглось... понимаешь? — не упало и не оборвалось, а просто пришла пора ему оставить материнскую ветвь. Я ощутила это как чудо: оно недавно было — цветок, а теперь сидит у меня на ладошке живое яблоко. И пошла с этим яблоком в кухню — показать его Насте, она и стряпала у нас. А в кухню в это время шел всеобщий любимец селезень Васька. Шел себе вразвалочку: такая перламутровая синяя испепеленная шейка, глаз такой веселый, на какой-то там протоке его уже ждал гарем. Он шел в разведку. Ему на кухне давали кусочек хлебца каждый день. Все его любили. С добычей отправлялся к своим. Я увидела, что Васька идет в кухню, подумала: не буду

мешать, обожду здесь. И села в траву... А Васьки нет и нет. Я пошла в кухню узнать, где он. Настя посмотрела на меня как-то смущенно и говорит: «Иди ты отсюда, нечего тебе тут делать, на, играй», — и что-то бросила мне в руки — холодное, мокрое. Я вышла на улицу, на свет — разглядеть. Это была Васина головка! Ладонь омочилась его кровью, белая пленка закрыла глазки... Я даже не плакала, я онемела. Несколько дней не ела, не выходила к столу. И эта кончина милого существа неопишуемой красоты... я не могу тебе даже объяснить — что это для меня было...

пауза

— Евгения Леонидовна, вот вы о селезне, которого, конечно, жалко. А что, революция, война, весь этот кошмар начала века? Он ведь жизни опрокидывал... Ваша семья...

— У нас Саша после заграничного санатория оказалась в Крыму, в Алушке, в частном пансионе — у Саши были слабые легкие. Хозяином пансиона был такой Овчинников, юрист, с васильковыми глазами, с красной разбойной бородой.

У него была охранная грамота, потому что на каком-то процессе, где Фрунзе приговорили к смертной казни, Овчинников его отбил.

— Это на каком же процессе Фрунзе приговорили? Еще до революции?

— Да. Потом его, как известно, зарезали товарищи по партии. Культурно, на операционном столе...

Ну, и отец повез меня на поезде в Алупку, к Саше. Тащились несколько недель, время-то было опасное, глумливое... Однажды посреди степи на поезд напала банда красных. Один, мордатый такой, голос сиплый, крикнул: «Евреи есть? Выходи!»

Вышли мы с отцом и еще одна семья: дед, мать и трое детей. Отец спрашивает: «Вы куда нас ведете?» — «Сам знаешь — куда!». Тогда отец вынул золотой портсигар и сказал: «А вот, не пригодится ли вам эта вещица? Смотрите, какие драконы великолепные, какая тонкая работа»... Тот взял, повертел в руках, открыл портсигар, почти полный отцовскими папиросами, такими... благоуханными, буркнул: «Ладно, проваливайте, пока не смотрю!»...

И мы с отцом бросились бежать... А ту, другую семью, голь перекатную, понятно куда повели...

И вот, не помню уж как — добрались до Алупки, разыскали пансион, где жила Саша, миновали огромный парк роскошный, вошли в дом, нам горничная показала ее комнату... Саша стояла на веранде, залитой солнцем. И свистела.

— Что-что?! Погодите, я н-не совсем...

— Мне было шесть лет... Мне показалось, что передо мной божество: Саша, в белоснежном сарафане на тонких бретельках, облокотилась о парапет террасы, в рыжих волосах переливалось солнце, а за спиной ее стояла синяя стена. Я никогда прежде не видела моря, поэтому не поняла — что это. И лишь когда по синей стене пополз крошечный пароходик, ахнула и обомлела.

Я робко к Саше приблизилась... Добирались-то мы несколько недель, не утруждая себя мытьем в поездах, да еще после того налета спали где попало, скитались по селам, добирались на попутных шарабанах... можно вообразить, во что превратилась моя и без того всклокоченная голо-

ва. Саша склонилась ко мне, потянула носом воздух и сказала: «Какая гадость!» И повела мыться...

И все это уже было счастьем: дивный парк... море...

— В те годы там жилали многие замечательные люди...

— Понимаешь, когда травят блох на собаке, все блохи скапливаются на носу. Вот так и в эти годы — с 17-го по 25-й — многие интеллигенты скопились в Крыму: в Коктебеле, в пансионатах в Алушке, Мисхоре... и Аверченко, и Тэффи, Волошин... всех не перечтешь — очень благородная публика. Я при них там крутилась. И еще были дети...

Мы учились там, знаешь? Например, рисовать нас учила художница Хотяинцева. Мы, конечно, понятия не имели, что она дружила с Чеховым, с Билибиным. Для нас все это был пустой звук, мы были маленькие невежды.

Да, Хотяинцева.. Она поставила вазу на лавку, и в вазе три цветка — незабудки. Все нарисовали, что видели. Я же нарисовала примулу, и на ней, как на колючей проволоке, были цветочки разбросаны...

«Где ты их увидела?» — спросила меня Хотяинцева.

«А мне так хочется!»

Она сказала: «Дурочка, уж из тебя-то художника не выйдет никак».

— Угадала...

— Да, вот такие люди... Поэтому-то и говорю таким языком — их языком... А Саша... она божественно свистела!

— Да что это значит, наконец?!

— Пока Саша была в Италии, кто-то научил ее свистеть не открывая рта. Казалось, звуки льются прямо из души.

Однажды она говорит мне: «Мало знать один язык. Ты будешь заниматься немецким и французским». Говорю: «Саша, есть хочется!» — «Ну так что, лучше умереть грамотной, чем невеждой!» ...Мы каждый вечер шли по берегу босиком из Алупки в Мисхор — специально, чтобы послушать под окнами одного дома неземную, упоительную музыку. Стояли весь вечер, на окне колыхалась тюлевая занавеска, из окна разливались, извергались потоки счастья... А однажды мы дошли и — услышали тишину. Только

занавеска под ветром безмолвно вырывалась из открытого окна и опять влетала в дом. Мы долго, долго стояли, все надеялись... Потом вышел человек и сказал: «Уехали Сергей Васильевич, уехали-с...»

— Сколько же километров вы отмахивали?

— До Мисхора не так много... Каждый день в оба конца... Саша делала все, чтобы занять меня, отвлечь от еды.

— А голодное было время?

— Совсем голодное... Опухшие трупы на улицах.

Помню, однажды, когда мы шли берегом моря в Мисхор, я спросила ее: «Саша, а ты не боишься, что я вырасту мимо?»— «Как это — “мимо”»? — удивилась она. «Ну вот я расту себе, пью, гуляю... а вдруг я вырасту не такой, как ты бы хотела, а какой-то совсем другой, чужой тебе?..»

И как раз в этот вечер... эта опустошенность — как вылетала из окна легкая тюлевая занавеска. И ни единого звука... «Уехали Сергей Васильевич, уехали-с...» Где-то постреливали, но мы не обращали внимания.

— Сколько вы пробыли в Крыму?

— В 21-м году с первым санитарным поездом подались в Москву. Сначала в Алушке появилась мамина сестра Римма, балерина Большого театра. Потом приехал ее муж, и он-то нас всех загрузил в поезд. И мы ехали в Москву... двадцать четыре дня.

— В Москву — двадцать четыре дня?!

— Двадцать четыре дня. Времена менялись, власти менялись, на поезд постоянно нападали, то он вдруг останавливался без всякой причины, то вдруг без всякой причины мчался...

— А когда нападали на поезд, что отнимали — деньги?..

— Да у нас нечего было отнять! Один раз, помню, вошел совсем молодой, хорошенький такой... У него вот тут, на руке, висели сумки. ... Навел на меня дрожащий пистолет... кажется, он сам его боялся... сказал высоким голосом: «Вот до чего вы нас довели!»... Повращал глазами и ушел. Нет, нас не трогали. Ну что с нас было взять?..

— Ну, а когда добрались в Москву?

— Вон, видишь, на книжном шкафу скульп-

тура? Моя бабушка... Вот такая она сидела: величаявая красавица рыжая, с рыжим котом на руках, у ног черный пудель, а на нем верхом сидел маленький королек-петушок. У него там было гнездо, на пуделе. Это первое мое впечатление в Москве... Меня опять отмыли, и я очень быстро освоилась.

— А где вы там жили?

— Против Елоховского собора, на том месте, где до нашего стоял дом, в котором Пушкин родился. В глубине двора — фруктовый сад, заборы все порушены... сам Елоховский, правда, не тронули. Мы туда часто ходили послушать пение, особенно в Страстной четверг.

— Вас крестили?

— Нет. Саша сказала: «Я родилась еврейкой, и моя дочь ею останется. И пусть будет, что будет. Пусть нас вышлют». Но никто нас больше не тронул.

— В какой школе вы учились?

— В девятой, имени почему-то Нансена. Тогда очень любили Амундсена, Нансена. Они были национальные советские герои. Наверное, это сейчас смешно?

И праздники отмечали как-то смешно. Помню Женский праздник. Зал набит такими интеллигентными благоухающими дамами.

— А это женская школа была?

— Нет, нет. Просто мамы пришли на спектакль в их честь. И вот, только представь себе: бывшая Медведниковская гимназия, очень добротно выстроенное прекрасное здание в стиле «модерн». Внутри зал огромный... И я на сцене этого зала: беленькие в резинку чулочки, лаковые туфельки, черное бархатное платье. И писклявым омерзительным голосом я выкрикнула: «Довольно обжигаться у горшков и мужу отдавать поклон! Сегодня делегатка я от всего рабочего района!». Дальше забыла. Мне не дали продолжать. Такой поднялся смех в зале! И меня как выставили на сцену, так и вынули, как куклу. Больше я не появилась.

— Завершение вашей артистической карьеры?

— Нет, зачем же. Я еще в нескольких спектаклях с неменьшим успехом участвовала. Но главное таинство помню: вступление в пионеры... Экзамены проводили не на шутку, задава-

ли страшные идеологические вопросы... Дошла очередь до меня. Я вошла. В комнате сидели три мальчика, очень убежденные люди. По-моему, всех троих потом расстреляли. «Скажи, Горштейн (это моя девичья фамилия), когда было Боксерское восстание в Китае? Знаешь?»

«Никогда в жизни!» Мне было 11 лет.

«Ладно, дам тебе вопрос полегче, — говорит Яша Кронос. — Какая разница между этикой и моралью? Это уж совсем легкий вопрос». Совсем легкий! Да только я такая незадачливая...

«А что ж ты знаешь?»

Я сказала, что знаю все про Марата. Как раз на днях рассматривала книжку, и там была картинка: Шарлотта, убивающая Марата. Ну, я им все рассказала: какой это был страшный преступник, который боролся со всеми аристократами, со всеми интеллигентами, грамотными людьми. Пытался погубить французскую революцию, Францию... Очень пылко рассказывала про Шарлотту, как она жизнь свою отдала, чтоб тирана убить!

Они переглянулись и попросили меня выйти и прийти на будущий год.

Когда я дома описала все это Саше, она сказала: «Так тебе и надо, охота тебе вступить в эту сволочь!»

В те годы завязались у меня многие дружбы. Например, я училась в одном классе с Саней Гладковым. Мы часто гуляли по Новодевичьему. Никаким заповедным в те годы оно не было. Так, просто кладбище по соседству. Много чего смешного там попадалось — например, памятник маршалу Пересыпкину. Поколенный портрет. Он стоит — морда как полено, говорит по телефону. Интересно — с кем это он говорит?

Мы с Саней сбегали с уроков, гуляли, все строили планы, как будем вместе писать сценарии, пьесы... Его, само собой, посадили в свое время. Как раз когда Эльдар снимал фильм по его пьесе «Давным-давно», Саня гнил на лесозаготовках. Потом, когда его реабилитировали, мы однажды столкнулись в коридорах Министерства культуры. Он бледный был, измученный такой, как с креста снятый... Очень скоро умер...

пауза

Содержание

Фарфоровые затеи	5
В России надо жить долго...	64
Посох Деда Мороза	88
По дороге из Гейдельберга	127
Белый осел в ожидании Спасителя	152
Гладь озера в пасмурной мгле	216